

ПИСАТЕЛЬ—КРИМИНАЛИСТ—КРИМИНОЛОГ

МЕДВЕДИК (ИЗ ТЕТКИНЫХ БАЕК)

С. А. Данилюк

кандидат юридических наук, член Союза писателей

Август шестьдесят восьмого года. Киев накрыло летней истомой. Недвижный, каленый воздух сгоняет все живое с улиц. Кажется, город впал в дрему. Разве что верхушкам каштанов перед распахнутым теткинским окном на Владимирской досталось немного ветра. Он мягко теребит листья, отчего по навощенному паркету гуляют теплые блики.

Вот уж вторую неделю после поступления на филфак я гощу у тети Оли. И вторую неделю гонористый семнадцатилетний пацан по всякому поводу схлестывается в спорах с упертой шестидесятичетырехлетней старухой. Впрочем в семнадцать лет стариком кажется всякий, дотянувший до сорока. На самом деле тетка ни тогда, ни после в старуху так и не обратилась. До самой смерти сохранила она пронзительные, незамутненные возрастом голубящие глазички, заставлявшие мужчин обмирать. Но и огневой характерец тоже не угас в ней до последнего часа. В тот первый свой приезд в Киев я от него слегка отхлебнул.

В молодости тетка была отчаянной авантюристкой. По скудным сведениям, в пятнадцать вступила в отряды ЧОНа. В неполные восемнадцать с первым мужем сражалась сначала у Котовского, потом против Врангеля. По сведениям матери, среди военно-административной верхушки тридцатых тетка чувствовала себя своей. Во всяком случае из пяти ее мужей ниже комкора не было. Да и в литературном мире Бабель, Эренбург, Фадеев для меня фамилии из хрестоматии, для нее люди, с которыми сводила судьба. А со знаменитым Михаилом Кольцовым она и вовсе близко приятельствовала.

Должно быть, отсюда привычка к безапелляционности. Возражений не терпела. Я же в сем-

надцать собирался покорить этот мир и во всяком споре стремился настоять на своем.

Мозги абитуриента густо нафаршированы свежими знаниями. И я то и дело уличаю тетку в неточностях, а то и в передергиваниях. Но всякий раз, когда я загоняю ее в угол, тетка беззастенчиво использует убойный аргумент.

«Если на то пошло, Маяковский сам признавал это», — заявляет она. — «Маяковский этого не говорил». — «Тебе не говорил, мне говорил», — победно усмехается тетка. Я надуваюсь, — проверить сказанное невозможно.

Накануне мы в очередной раз повздорили. Я принялся декламировать Есенина, которым зачитывался.

И вдруг тетка отчеканила:

— Вот уж кого не уважала, так этого «кулачка»!

Оказывается, в двадцатых, вместе с мужем тетка с месяц жила в одной из московских гостиниц. В соседнем номере останавливался Есенин. Изредка общались. Однажды, со слов тетки, Есенин забежал в их номер с новыми сапогами. «Спрячьте на время. Отец из деревни нагрязнул. Увидит — заберет». Отцу пожалел! Какой там поэт? Сельский жлоб.

Обычно в таких случаях я терялся. Но не в этот раз. Спустить, когда любимого поэта *походя объявляют «кулачком»*, я не мог.

— А слышала, — «суди не выше сапога?» — схамил я в запальчивости. — Думаешь, если по соседству спала, так и судить право получила? А судить гения надо по творчеству его. Нет, прав Есенин — большое видится на расстоянии!

Тетка подалась вперед, тяжело задышала. Голубизна в глазах погрозовела.

По счастью, как раз прибежала Верочка. Тридцатипятилетняя Верочка, приемная дочь тети

Оли, удивительное существо. Легкая, уступчивая, с веселой ямочкой на подбородке, она безропотно принимает на себя приступы теткиной раздражительности. Лишь за два года до моего появления наконец вышла замуж, — всех прежних кандидатов тетка отшивала. Не одобрила она и нынешнего. Но тут уж Верочка настояла на своем. Теперь живет у мужа. Но каждый день непременно забегает навестить «мамочку», принести продуктов. Забегает одна. Мужа ее непримиримая тетя Оля видеть не желает.

Верочка разрядила накалившуюся атмосферу.

Тем не менее спать мы с теткой легли, не пожелав друг другу спокойной ночи.

Наутро оба ищем пути к примирению.

Тетя Оля, сидя за письменным столом, перебирает старые бумаги. Обтянутый бильярдным сукном стол как раз возле окна. И все на нем: карандаши в пластмассовом стаканчике, стопка двухкопеечных тетрадей, зачитанные томики Ленина вперемежку со стихами, — все в таком привычном порядке, что, когда тетка возлагает на стол свои руки, понимаешь: это именно те единственные в мире руки, которых не хватало на этом столе для полной гармонии. Гладкие, маникюренные. Разве что крохотные пигментные пятнышки выдают почтенный возраст.

Да и вся эта солнечная прибранная комнатка, с салфеточками на этажерках, со взбитыми подушками на никелированной кровати, с фикусом у платяного шкафа, настолько полна теткой, что всякий другой кажется здесь лишним.

Будто случайно тетка выуживает из объемистого пакета ссохшуюся, пожелтевшую фотографию. Протягивает мне. На фото трепетная белокурая девчушка в балетной «пачке», поставив ножку на табурет, зашнуровывает вокруг лодыжки ремешок.

— Хороша была? — требовательно уточняет тетка.

Я показываю большой палец. Еще бы не хороша. Пытаюсь понять, где это снималось: в школе или уже в институте.

— Наверное, на выпускном вечере?

— На вечере, — подтвердила тетка. В лице ее проступило торжество.

— На кремлевском любительском концерте, перед Первомаям. За два месяца до ареста.

— Как за два месяца?! — пораженный, я вновь впиваюсь в фотографию.

Тетку арестовали в тридцать восьмом. Родилась она, по непроверенным данным, в третьем году. Значит, на фотографии ей должно быть не меньше тридцати четырех. К тому времени переменяла трех мужей. Сын уже заканчивал школу. Но поверить в это, видя изящную миниатюрную фигурку, лукавый из-под челки взгляд, было решительно невозможно.

Зато в другое, что много раз слышал от матери, поверил враз и безоговорочно, — всю жизнь мужчины влюблялись в тетку без памяти и по капризу ее совершали немыслимые сумасбродства.

— Ох, и крутила она ими! Глазиком скосит, на ножке крутнется. И — готов! — произнося это, мать завистливо зажмурилась.

Впрочем сама мама сведения о похождениях тети Оли черпала из рассказов родственников. Разница меж сводными сестрами составляла 27 лет. Жили в разных городах. Общаться начали только после теткинго освобождения.

Но и прочие родственники, как я убедился, знали немногим больше. Жизнь тети Оли была окутана легендами. И легенды эти тетка создавала сама. Она никогда при мне не рассказывала о своей жизни связно. Лишь изредка бросала вскользь что-нибудь вроде: «Берия, признаюсь, поразил. Редкостный, конечно, стервец. Но, в чем не откажешь, умел обольщать». И тут же, будто сказанное не заслуживало внимания, переводила разговор на другое.

Искоса, впрочем, упиваясь произведенным впечатлением. Как хошь, так и понимай: то ли ее обольщал, то ли кто-то из подруг поделился.

Но в этот раз тетю Олю что-то крепко зацепило. Она впала в задумчивость, заерзала, задвигала губами. Вдруг вытряхнула на стол содержимое пакета и с обеспокоенным видом принялась разгребать его. Нашла то, что искала.

— Значит, считаешь, хороша была?

— Что значит была? Да ты из редчайшей категории женщин, — до восьмидесяти доживешь, и все хороша будешь! — подольстился я.

— Да? А как тебе эта бабенка нравится? — тетка протянула еще одну фотографию, совсем скукоженную.

Что тут могло понравиться? Сгорбившаяся старуха, в телогрейке. Кисти рук зябко укутаны в засаленные рукава. Мохнатый платок, по-бабы подвязанный под самый лоб.

Я непонимающе вглядываюсь в унылое, отечное лицо, — зачем мне его показывают? Посмотрел на тетку, та выжидательно улыбалась. Начиная догадываться, всмотрелся. И лишь тогда разглядел теткин глаза. Только очень печальные и будто наледью покрытые. В паутине морщин.

— Это через восемь лет, после освобождения. Стало быть, на все про все мне здесь сорок два годочка. А ты говоришь, — тетка положила два фото рядышком. Подмигнула. — Что губки подпустил, племянш? Жалко стало? Еще спасибо, что жива осталась.

В комнате установилось молчание. Тетка, кажется, ждала наводящего вопроса. Я же затаился, боясь спугнуть редкое в ней исповедальное состояние.

— Шалая у меня все-таки судьба выдалась, — усмехнулась тетя Оля. — Будто кто на куски нарубил: вначале жизни — филейчику, потом грудинки, — тетка отпихивает бальное фото, отчего-то с неприязнью, — а оставшиеся кости да ливер на студень ушли. В Карлаге этого студня со стужей вдосталь хлебнуть довелось.

Следом за бальным фото на край стола отлетает и «старуха в телогрейке».

— А теперь, похоже, хвосты подъедаю. И уж сама не знаю, жила я той жизнью, какую вспоминаю, или — почудилось. Ведь сколько люда вокруг меня вертелось. Сотнями, тысячами исчисляла. А какие глыбы меж ними попадались. Какие страсти кипели, споры до драки о смысле бытия. И — вдруг сгнули, как не бывало. Никого из прежних. Не то чтоб рядом, но хотя бы на виду. Ни-ко-го! — выдохнула она тоскливо. — И следов никаких: писем, метрик, фотографий. Кроме этих двух, по случайности сохранившихся. Была Атлантида и — потопило.

Тетка откинула головку на спинку стула, зажмурилась под солнцем, так что пушистые ресницы принялись будто сами собой подрагивать. Все-таки истинная женщина остается ею до конца. Видно ведь, что разволновалась не притворно. А все-таки не забыла принять позу повыигрышной.

(Я в волнении ждал).

— Арестовали меня через два месяца после мужа, — не размежая глаз, отчеканила тетя Оля. — Он тогда был в Харькове секретарем... Впрочем, неважна тебе должность. Главное —

был он настоящим коммунистом. Не люблю высоких фраз, но если уж говорю, что настоящим, значит, того стоил. За то и взяли. Тогда каждый настоящий большевик был потенциальным врагом народа. Проходил по одному делу с Варейкисом. Вместе расстреляли. Это я уж после узнала. А тогда, как мужа забрали, бросилась спасать. Бабенка-то в общем бойцовая была. Кинулась к друзьям мужа, да и своим — общие они у нас были — отогреться. А от них вдруг таким морозцем...Бр-р! Вот тут-то бабоньку и заколотило. До этого носилась по инстанциям, словно у Котовского, — все искала, где тот вражина затаившийся, чью башку поскорей снести надо, чтоб честных коммунистов не порочил. А тут чую, — нет какого-то одного. Гниль по всей датской державе пошла. Я-то еще в гражданскую привыкла: друг — это который прикроет. А тут — большевик, отчаянный парень, а говорит со мной о муже моем, дружке своем закадычном, шепотком, словно о заразной девочке. Страшно мне стало, тем паче, что бояться-то в общем не привыкла.

И вот возвращаюсь как-то домой, а сын Алька (шестнадцать, школу заканчивал) сообщает: «Похоже, тебя разоблачили». И протягивает повестку из милиции. — «Я всегда подозревал, что от алиментов укрываешься». Любил, стервец, над матерью подшутить.

О дурном не подумала. Пришла, протянула повестку: «Здрасьте, мол. Чего желаете?»

«Здрасьте», — отвечают. — «Только вам не к нам, а к смежникам. Мы просто послали от себя, чтоб без лишних волнений. Так что потрудитесь улицу перейти».

Вот тут и дошло, — пришел мой черед. Вылетела я от них и — бегом домой. Меж машин, по лужам, по грязюке. Сын рисовал что-то. В Строгановское готовился поступать. Схватила его за плечи, развернула.

— Ты, — шепчу, — сынуха, если со мной что случится и обо мне дурно говорить станут, не верь. И про отца не верь. Чисты мы перед тобой и перед партией, понимаешь?

Глаза у него мои были, огромные, голубюющие. Как слезы в них поплыли, будто дамбу прорвало, и озеро растеклось.

Приласкала, как умела. И — пошла себе, солнцем палима.

Нашла кабинет. Следователь молодой, но уже такой — осанистый. Весь из себя в значе-

нии. Посадил на стул, воды налил. Сразу видно, жесты заученные. Папиросочку, правда, не предложил.

Сию, жду, когда он про мужа заговорит. Голову опустила, чтоб страха не выказать. Во рту жжет, в висках колотит. Руки, чувствую, дрожат, а унять не могу.

Долго так сидели. Вдруг слышу тяжелое мужское сопение, глаза поднимаю, а у него даже кончик языка вылез, только что слюна не течет. Засмотрелся, стервец!

Сразу очухалась. До чего ж запугали бабенку, что салажонка-сопляка чуть не за Каменного гостя приняла. Волнения как не бывало. И во рту сделалось свежо, и вены на висках исчезли. Смотрю на него с прищуром, но так чтоб не обидеть (видишь, тетка-то у тебя, хоть из гусаров, но дипломатию превзошла).

— Может, начнем? — предлагаю.

Тут и он опаматовал.

— Что можете сказать о таких-то? — и протягивает коротенький список.

— А что могу сказать? Чудные ребята, большевики.

А сама жду, когда он про мужа заговорит.

— Да вы не спешите, подумайте. Вызвали-то вас сюда не случайно. Нам известно, что вы всех троих хорошо знаете.

— Еще бы не знать, — отвечаю. — Все дружки мои закадычные. С Пашкой Печерскую лавру закрывали, с Серегой у Котовского воевали, а с Вадькой росла вместе. Настоящие наши советские ребята.

Смотрю, а он пальчиками по столу постукивать начал — с эдакой нарождающейся злобочкой.

— Вот что, девушка, — другим, чугунным голосом отчеканил он. — Что вы можете о них хорошего сказать, нас не интересует. Говорите о плохом. Ясно теперь?

Тут меня понесло.

— Во-первых, я вам давно не девушка. Трех мужей поменяла. А за этих ребят могу поручиться как за себя.

Выпала последнюю фразу и осеклась. Репутация-то моя для них, как пеленка у грудняшки, — мокренькая.

Но, видно, и правда умела я парней на привязи держать. Смолчал.

Потом вытянул неохотно из стола чистые листы, положил передо мной:

— Раз так, пишите поручительство.

Протянул ручку. Тут же назад отдернул.

— Только советую сперва крепенько подумать.

И смотрит в упор — особенно. Будто свою, потайную мысль в меня вкладывает.

Да я и сама догадалась, что голову в петлю сую.

Только думать уже не могла. Головка-то хоть и уменькая была, при том, что хорошенькая, но вот если мысли с чувствами расходились, тут она мне отказывала.

У других, счастливых, при таком раскладе совесть съезживалась, а у меня в голове замыкало.

Выхватила ручку. Да и сунула голову в петлю.

Тетка промокнула повлажневшие губы, провела салфеткой по лбу.

— Через неделю за мной приехали. Теперь это как картинку в учебник истории рисовать можно: двое в кожанках и один с винтовкой. Месяца три в подследствии держали. Вот когда по-настоящему поняла, что такое жуть. Это когда коммунист измывался над коммунистом. С одной стороны, ты, верящий в Ленина, в коммунизм. А с другой, следователь. Тоже, вроде, на том же воспитан. Но вот изгаляется он над тобой как над врагом, мужа твоего ни за что уничтожает. А ты не веришь, не хочешь верить, что он тебе и впрямь враг. И что не ошибка все, что происходит, не заблуждение, а продуманное массовое уничтожение лучших и надежнейших кадров. Хотя, поверь в это, наверное, чуть полегче бы стало. И мечешься ты по камере, не в силах понять, почему мальчишка следователь на допросах с обслонявленным ртом выкрикивает дико: «Признавайся, вражина, что была в одной шпионской группе с этим своим Сережкой!»

А ты только зубами хрустишь.

— Били? — не удержался я.

Тетка на секунду запнулась. Хотела, видно, для остроты приврать. Но — честь ей и хвала — удержалась:

— Нет. Меня — нет. Не того масштаба я для них фигура была. Мне и без того стресса хватило. И что по сравнению с этим привычные страхи?

В детстве мышей боялась до одури. А тут проснусь ночью в камере, смахну жирную крысу и дальше сплю. Спали, кстати, обязательно лицом к двери.

— А это зачем?

— Чтоб надзиратель мог в «глазок» разглядеть: а вдруг ты с собой что сделала. Там и впрямь умереть порой за немислимое благо казалось. Вот они и следили, чтоб тебе это счастье без их санкции не перепало.

Через три месяца объявили приговор: «Пять лет лагерей за недоносительство». Ты понял: за не-до-но-си-тель-ство!

В шестьдесят первом встретила я с одним из тех ребят и только тогда узнала с изумлением, что никого из них в те страшные годы не тронули. Даже не знали, за что отсидела. Думали, за мужа. Какова хохмочка?

Тетка натужно засмеялась.

— Тот год для меня вообще мерзопакостным выдался. Я ведь еще и сына потеряла. Пока оставалась на свободе, успела связаться с троюродной сестрой в Крыму. После моего ареста Нюся увезла его к себе. Там же пошел мой хлопчик в десятый класс. Так прознали-таки. Нашлась гримза-учительница, объявила перед классом, что у них теперь учится сын закоренелых врагов народа. А семнадцать лет — самый поганый возраст. Ушел в горы и — не вернулся. Через три недели нашли повесившимся с рисунком в кулаке. Мне Нюся рассказала, что на нем было. Он, муж и я подходим к воротам вроде рая, но с надписью «Коммунизм», а сверху бог с лицом Ленина руки протягивает. Да, поганый это возраст — семнадцать лет.

Тетка пытается говорить спокойно. Она и впрямь внешне спокойна. Если ты сумел пережить боль от потери близких, то время потихоньку рубцует ее, будто замораживая в леднике. Но порой лед подтаивает, и замороженная боль начинает ныть заново.

Мне кажется, что теткин голос прервался. Видимо, так и было. Потому что она сердито прокашлялась, испытующе скосилась на меня, — заметил ли. Делаю вид, что нет, — только бы не оборвались воспоминания.

— Отправили меня в Карлаг. Все там было: и грязь, и нечисть, и мысли дикие, и звезд ночной полет. Довелось и с уголовниками поякшаться, и вены резать пыталась... Это когда до меня о смерти хлопчика моего весть дошла. Думала, после такого не живут. А вот ведь перетерпела. В сороковом, когда два года оставалось, завела себе что-то вроде дембельского альбома.

Про этот альбом я от тетки мельком слышал. И даже видел несколько сохранившихся листи-

ков. На каждом — рисованный человечек — из тех, что «ручки, ножки, огуречек», и — четверостишие. Стихи мне тогда не показались, а вот щемяще беззащитный человечек поразил. Вот он, отвернув голову, несет на вытянутой руке парашу. И ручка-прутик подрагивает: то ли от тяжести, то ли от брезгливости. А вот он стоит, съезжившись, меж сторожевых вышек с головкой, тоскливо задранной к звездному небу. Знаю, со слов тетки, что блокнотик этот заветный она в пятидесятые отвезла Фадееву. И он даже будто бы загорелся напечатать. Но после его гибели блокнотик канул. Может быть, опечатали среди прочих бумаг.

Тетка шумно вздохнула:

— О дембеле размечталась, дуреха. Не поняла еще до конца, с кем дело имею. В сорок первом, как война началась, вызвали нас к куму и предъявили документик: до конца войны заключенные автоматически остаются в лагерях. Ничего больше не помню. Рухнула, говорят, на пол. Сейчас уж и не скажу, с чего так. Ведь уверена была, что война больше, чем на год не затянется. Очухалась в госпитале в палате для умирающих с открывшейся язвой. Простыни липкие, холод. Мозг говорит: умри наконец. А тело отбрыкивается.

Провалилась три месяца, вышла из больницы. Но больше дней до освобождения не считала — чтоб с ума не сбрендить. Да и не рассчитывала дотянуть. Потому что осталось от меня на все про все сорок шесть килограммов костей, — будто луна обгрызанная. Вся прозрачная. Можно уроки анатомии проводить, не вскрывая. В общем собралась бабонька подышать. Но тут начальник лагеря сменился. И надо же — подвезло, — в двадцатых под одним из моих мужей служил. Понятно, ни полсловом не дал знать. Но только перевели меня вдруг на метеостанцию — Метка, по-нашему. Это по тем местам удача неслыханная. Сродни хлебобрезке. Наверное, помочь решил. А может, просто, чтоб умерла доходяга в стороне, по-тихому.

И началась моя новая жизнь. Метеостанция в семи километрах от лагеря. Заборчик, вышка, домик. Голая степь. Ветер пронизывающий в калитку ломится. По ночам волки ему подвывают. И ты среди этого одна, что былинка в поле. Любой походя затопчет. А кому затоптать было. Степь вся в лагерях. То и дело бегут. В основном блатники, беспредельщики. А метка — она посреди степи как маяк. Кого еще на огонек вынесет?

Правда, собак молодых дали, кавказцев. Вот они меня и спасли. Не от людей. Тут Бог миловал. От смерти. Меня-то, зэчку, на баланде держали, а для собак моих рацион другой. Даже мясо отпускали. Так я из их пайка потихоньку приворовывала. Ну, правда, молодчаги псы оказались. Ни разу не пожаловались.

Через год вымахали так, что ко мне охрана ездить перестала — песики не подпускают. А пристрелить жалко — сами дали. Потом это же не зэчка. Госимущество как-никак. На балансе.

Выделили мне клячу Алку, и стала я на ней сама в лагерь с отчетами да за продуктами ездить. А Метку так на меня и переложили. Даже проverkaми не досаждали.

И понимаешь, племяш, какая штука. Чем больше меня жизнь бьет, тем, чувствую, крепче во мне человек. Не то чтоб человечество. А просто человек. Чистюля, помыться любит, одеться старается поопрятней, поесть, пусть не сытно, но вовремя, волосы по утрам расчесать. В лагере пока была, ты хоть не хощь — казенная единица. Все наперед размерено. Разве что ногами сама перебираешь. А как на Метку отправили, зажила тетка! Со временем даже парой платьиц цветастых разбогатела. На люди в них, понятно, не показывалась, но наедине с собой форсила! Представляешь?

Очень даже представляю. Только вчера прогуливал тетку до аптеки. В маленькой шляпке, в шифоновом платьице в талию, рукав «фонариком», в туфельках с бантиками, она несла себя по Большой Подвальной. И встречные огоршенно обмирали при виде этого изящного осколка тридцатых годов.

Тетка самодовольно прищурилась:

— С платьями этими знатная история связана. Мне их врачиха одна подарила. Не из зоны. Из Караганды. У нас в лагере хирург-глазник знаменитый сидел, так она дочурку свою к нему привезла. Девчонке стружка в глаз попала, слепота грозила. Связи у врачихи, похоже, в Караганде серьезные были, раз операции на зоне добилась, да еще и аппаратуру выбила. А вот из лагеря велели уехать. Представляешь? Ребенка на операцию оставляют, а мать, у которой судьба дочери решается, гонят от нее за сотни километров.

Ошалела, видно, бабонька. Кинулась к заключенным: спрячьте, отблагодарю. А где в лагере чужого спрячешь? Вот и посоветовали на Метку.

Знали, стервецы, что ко мне охранники лишний раз не сунутся.

Начальство наверняка прознало. Но смолчало. С неделю у меня прожила.

Операция удачно прошла. Спасли девке зрение. Только ее еще надо было наблюдать, лечить. Что делать? Но — пробивная! Опять по связям рванула. Договорилась, чтоб дочка, пока лечат, у меня на Метке жила. А я, хоть меня никто не спрашивает, как раз не против. Так у меня десятилетняя пацанка поселилась. Ничего, сжились, — привязчивая, стервочка, оказалась. Даже с песиками моими сдружилась. Через два месяца мать за ней вернулась. Когда прощались, протянула адресок. Мол, как освободят, сразу ко мне, в Караганду. Устрою на работу. Жить, пока комнату не подберем, у меня будешь. По тем временам слова эти дорогого стоили. В Киев-то я при всех раскладах вернуться бы не смогла — поражение в правах.

Обнялись мы, разнюнились. А дочка стоит рядом и тоже, смотрю, слезки потекли. Она ведь в первый раз увидела, как я плачу. Врачиха мне и туфли с бантиками хотела оставить, но там два лишних размера оказалось.

Уехали они. И — так мне худо стало. Будто заново осиротела. Опять осталась со степью один на один. Ночью волки воют, собаки в ответ заходятся, степь холодом веет, а маленький человечек, который и весит-то меньше хорошей собаки, сидит себе в домике, подложил ручонки под подбородок и тоже подпискивает: мол, отпустила бы ты меня степь в стольный Киев, к каштанчикам моим любимым, ведь ни в чем я перед тобой не виновата.

И вот сижу я, травлю себя по ночи. Вдруг слышу среди степных звуков новый вкрапился. И не звук даже, а так — будто дыхание.

Я ведь, как меломан в оркестре, любой шорох в степи различала. Вскинула голову, напряглась. И впрямь посторонний звук. Усиливается. Уже жужжит тихонько, пофыркивает. Меня аж ошпарило: «Машина! Значит, по мою душу».

Время тогда, племяш, такое было: для вольных настоящего закона не существовало. А уж для зэков... Поступит команда, приедут, заберут, да и пристрелят по дороге при попытке. А потом сактируют.

После трех месяцев предварилки ничего так не страшилась. Я ведь опять надеждой на осво-

бождение жить начала. Сорок пятый шел. И вот на тебе — едут. Настал, стало быть, мой час.

Тоскушка-потаскушка моя хиленькая вмиг испарилась.

Одна мысль: «Неужели все?!» Не знаю, на что решиться: разве, собак с цепи спустить? Так в этом случае и с ними церемониться не станут — перестреляют.

А гул то затихнет, то вновь приблизится. Значит, не по прямой едут, петляют. Начинаю соображать: раз прямой дороги не знают, может, не охрана, а кто залетный. Кинулась огонь в доме тушить — если и впрямь чужие, не заметят да мимо проскочат.

Только поздно сообразила. Минут через пятнадцать подъехали. Стучат в ворота. Чему быть, тому не миновать — открыла. Собак так и не спустила, — их-то за что понапрасну губить?

Вижу, *газик* тусклыми фарами на забор светит. И низенький паренек лет двадцати пяти в кожаных куртке и кепке перед калиткой сапогами на морозе притопывает. Да еще пустым ведром себя по спине околачивает. И такой вид разухабистый — чистый опер. Шарю глазами по кожанке, ищу, где оружие запрятано.

— Что, мамаша, спрашивает, не подкинешь водички в радиатор залить? Заблудился на охоте.

Значит, все-таки не по мою душу. Пронесло на сей раз. Господи, Боже мой, слава тебе, Всевышний! И не соображаю, что вслух молюсь. В первый раз в жизни. Я ведь и до того, и после того — атеистка прожженная. А тут, видать, уверовала ненадолго.

Опомнилась только, когда у него щека задергалась:

— Ты чего блажишь-то, старая?

«Блажишь» это я бы ему спустила. А вот за старуху обиделась. Хотя в сущности ею и была, — тетка ткнула в сторону фото. — Отобрала ведро, калитку перед носом на щеколду затворила — он-то хотел следом втиснуться, — налила воды, заново открываю калитку, и — ведро из рук!

Позади разбитного паренька стоит медведь и мерно раскачивается. Ну не то чтоб совсем медведь, но ростом и осанкой — один в один. К тому же весь в меху, от волчьей шапки до собачьих унт.

Должно быть, остолбенела я. Потому что паренек этот, язва, заухмылялся. На ведро пролитое поглядел с сожалением, головой с ехидцей пока-

чал: плоховато-де с нервишками, хозяйка. Потом скоился на медведя и говорит:

— Пусти-ка ты нас погреться. Подмерзли малек. Да не бойся, мы не кусаемся.

Не догадывался он, что кусачих я куда меньше боюсь.

Я б, может, и прогнала. Тем более по инструкции любой контакт заключенных с вольными запрещен. Надо б сказать, что зэчка я. Сами пулей развернутся. А что если наоборот решат: раз бесправная, все дозволено? Да и видно, что намерзлись. Впустила, конечно.

Входят в дом. Медведь при свете, как шапку стянул, в человека превратился. Только рост остался медвежий — за два метра. Лицо крепкое, каменноскулое. А глаза — махонькие, но до чего живые и теплые. Как в них заглянула, отлегло, — с этой стороны беды не будет.

Не понравилось, правда, что повел себя больно по-хозяйски. Прошелся вразвалочку, оглядел небогатую обстановку да хилую утварь, второму кивнул, и тот — тотчас из дома. Я было обеспокоилась, — никак что удумал. Но напрасно — опустился на табурет и будто врос. Сидит, молчит да меня в упор разглядывает, — из-под платка вылушивает. А унты-то в снегу. И снег, вижу, подтаивать начал. Ну, какая у тебя тетка чистюля, сам знаешь. Сказать ничего не сказала, но зыркнула от души. Думала, взовьется. А он вместо этого затылок лапичей почесал и так обескураженно улыбнулся, — если и появилась во мне злость, исчезла тут же. Ну как на такого Медведика сердиться!

При этом прозвище какая-то неясная догадка всколыхнулась во мне. Что-то смутно знакомое, где-то слышанное. Возбуждение мое тетка подметила, но то ли не обратила внимание, то ли не сочла нужным отвлекаться.

— Так вот, сидим. И все это время во мне свербит: надо наконец признаться, кто я. То, что Медведик этот — большое начальство, поняла сразу. В зону пропуск на охоту кому попало не дадут. Только контакт с политической зэчкой — это вам не сайгачья охота. Коснись чего, не поглядят, что начальство. Медведей, их ведь тоже собаками травят.

Только собралась с духом, второй возвращается, из машины корзину с продуктами тащит. И чего там только не было, мама дорогая! Колбаса, сыры, икра даже черная. Ну и водка, конечно.

Вот ведь интересно. Когда меня арестовали, следователь — стервишко недели через две пытку удумал: на допросе вытащил колбасу, мясо и дай кусманами наяривать.

Я тогда в него пепельницей запустила — так боялась колбасу схватить.

А тут шесть лет отсидела, стол от продуктов ломится, каких с тридцать восьмого не видела. Сами предлагают. А я креплюсь. И глаза отвожу, чтоб не выдать, насколько голодна. Гордость отчего-то обуюла.

Медведик меж тем молча посапывает, чесночную колбасу ломтями в рот запускает да водку лупит стаканами.

Один Володька — он представился — разговор поддерживает:

— Не страшно одной в степи? И чем же это люди так досадили, что от всех подальше в вольноопределяющиеся подалась?

Больше скрывать было нельзя.

— Не я выбирала, — отвечаю. — Заключенную куда пошлют, туда идет.

Выпала. И поднялась, чтоб проводить.

Володька и впрямь осекся, принялся рукой по лавке шарить, — кепку искал. А кепка на голове оставалась — снять забыл. А вот Медведик странно себя повел. Отставил стакан, осмотрел меня поновому, потом протянул колбасу и увесисто так, будто землю бульдозером разрывает, потребовал:

— Ешьте.

И знаешь, начала я есть. Может, от того, что впервые голос его услышала. Ем и молчу. И они оба молчат. То на меня зыркнут, то меж собой переглянутся.

Наконец поднялись. Володька замельтешил: спасибо за уют-ласку, а нам пора.

И слава Богу, что пора. Проводила. Заперла за ними калитку. Возвращаюсь, а корзина с оставшимися продуктами в сенях стоит. Забыли. Значит, повезло мне, — еще месячишко-другой на подсобных харчах протяну.

Уверена была — больше не увижу. Только месяца не прошло, опять гул в степи. И снова двое — впереди Володька с корзиной шествует, а Медведик следом топает.

Пронесят корзину в дом, я Володьке пустую отдаю. Минут тридцать посидели, помолчали и — поднялись.

Так и повадились. Приедут, посидят, Володька потреплется ни о чем, Медведик помолчит, по-

сопит, корзины обменяют и — дальше, фарами степь выстригать.

Вдвоем всегда приезжали. Видно, никому, кроме Володьки, Медведик не доверял.

Кто я, откуда — ни ползвучка. Медведик вообще за все время, дай Бог, десятка два слов обронил. Только глазенки жадные — куда я, туда и они следом. Будто каждый раз на месяц вперед мною пропитывался. Тут и слов не надо. А вот Володька, у того язык не на привязи. То там, то здесь проболтается. От него я и выведала, кто такой Медведик.

И тут наконец меня озарило: ведь Медведиком, со слов мамы, тетка называла последнего из своих мужей. После него замуж уже не пошла, хотя домогались даже в шестьдесят.

— Кажется, он был директором какого-то комбината! — выкрикнул я.

— Угольного, племяш, угольного, — улыбаясь глазами, подтвердила тетя Оля. — И не какого-то, а в Караганде. То есть бог и царь. Хотя нет — только царь. И тоже под богом ходил. И если б прознали, что под видом охоты зэчку политическую навещает, сам понимаешь, — тетка полоснула себя ребром ладони по горлу. — Но ездил ведь, стервец! А мне в конце концов что? Хочет — ездит, шуганут — вмиг остынет. А пока — какое-никакое развлечение. Да и — что душой кривить? — он же меня, доходягу, на ноги поставил.

Полгода так продолжалось. А потом вдруг очередной месяц прошел — их нет. День, другой — все нет. Во мне отчего-то раздражение забурлило, — шутки они со мной шутить вздумали, — хотим заедем, хотим нет. Появитесь, думаю, голубчики, хрен я вас на порог пушу. Через пару дней подобрела — черт с вами, пушу. Но так встречу, что сами пулей усвистаете. Корзину отдам, а новую назло не возьму. То-то морда сытая медвежья вытянется! С мыслью о сладкой мести заснула. Еще неделя прокатила! Слух мой хваленый изменил мне окончательно: чуть не каждый час гул машины чудится, — бегу к калитке. И когда в очередной раз так впустую сбегала, — будто вспышка: бабонька, да ты ж его ждешь! Поняла — и сама себе поразилась. Так не бывает! Ведь восемь лет скорбного существования, казалось, давно во мне женщину спалили. И вдруг откуда что берется? Будто травинка сквозь асфальт проралась. Что же это за сила у жизни

такая? И следом запоздалая догадка — но раз не приехал, значит, беда с ним? Как стояла меж моих песиков, так меж них и осела. Людям бы такими чуткими быть, как собакам, — вылизывать принялись, утешать.

Меж тем второй месяц на излет пошел. Начала я сама с собой психотерапию: выбрось, мол, из головы. Тем более будущего здесь изначально не было. Что ж пустые слезы лить? Наоборот, радуйся, что ни разу не застигли. А то бы новый срок схлопотала. И вообще все, что свершается, к лучшему: из ниоткуда пришло, в никуда уйдет. Здорово я себя укрепила. Прямо якорем!

К вечеру гудение. Сердце захолонуло, якорь сорвало, как не бывало, — ноги сами к калитке понесли. Вся терапия, само собой, разом с меня слетела. Даже в голову не пришло, что это могут оказаться лагерные — по мою душу.

И точно — знакомый газик подъехал. И в нем всего один человек — Медведик. Оказалось, Володька ногу сломал. Так Медведик, чтоб ко мне приехать, научился сам машину водить.

Это он мне после сказал. А в тот момент хотела для порядка отсобачить. Только он как шел, так, не останавливаясь, подхватил меня вытянутыми руками и понес перед собой. А в доме даже на пол не поставил. Приблизил глаза в глаза и...

Дыхание тети Оли сделалось прерывистым, взор замутился. Вялые щеки зарумянились, по лицу забродила томная улыбка. И это в шестьдесят четыре! Каким же сладким призом становилась она для мужчин, которых любила в молодости.

— Что дальше-то? — некстати поторопил я.

Тетка вздрогнула, смутилась.

— Что могло быть дальше? Пропала тетка.

Я ему в ту ночь впервые о себе рассказала, чтоб понимал, какой чумной заразы коснулся, и — бежал, пока не поздно.

Глазищи ее потеплели:

— Не убежал, конечно. Не того калибра мужик. Медведи, говорит, к чуме невосприимчивы.

Тетя Оля хмыкнула растроганно.

— С тем и простились на две недели. То есть это я думала, что на две недели. Забыла влюбленная баба, что нельзя жить надеждами. На другой день поехала на своей Алке в лагерь — сдуру верхом. А та — даром что кляча — с чего-то понесла. Мне после в больнице объяснили, что чудом жива осталась.

И бывают же подарки судьбы, — после больницы освободили. Приехала в Караганду к врачихе своей. И что думаешь? В самом деле приняла. И дочка ее меня не забыла, — на шею кинулась. Еще и в больницу к себе нянечкой пристроила. Она же мне и жилье подыскала. Нет, что ни говори, а если человек настоящий, — он во все времена настоящим остается. А кисель — всегда кисель.

— А как же?!.. — в нетерпении перебил я.

— О чем ты? — тетка усмехнулась. — Я ж пораженная в правах. И ты хотел, чтоб я к директору комбината заявила: мол, вот она, ваша нечаянная радость. Одно дело Метка, где никто не видит, и совсем иное среди злых глаз. Правда, Медведик клялся, что вдовец и что будет ждать. Так ночью в чем не поклянешься! Нет уж, не в моих правилах других подставлять.

Тетка глянула на ходики, — вот-вот должна была забежать на обед Верочка, — и принялась сгребать рассыпанные бумаги обратно в конверт.

Должно быть, вид у меня был совершенно разочарованный. Тетя Оля смилостивилась.

— Он меня сам разыскал, — небрежно сообщила она. — Прямо в больнице на глазах у всех подлетел и тряхнул так, что косынка с головы свалилась. — Где ж ты пропадала, стерва? — Думала, прибьет прилюдно. Лицо пунцовое, губы дрожат, глазки навывкате. После выяснилось, что он к моему освобождению руку приложил и, когда не появилась, чуть ли не в розыск объявил. В общем огреб в охапку и поволок к себе в берлогу, то бишь в квартиру.

Тетя Оля отчего-то вновь углубилась в обе свои фотографии. А я с нетерпением жду: если о самом Медведике среди родственников смутные разговоры ходили, то почему и как тетка с ним рассталась, никто толком не знал.

В тетке умерла актриса, — усиливая эффект, затягивает и затягивает паузу. И, только когда от тишины начинает звенеть в ушах, выдавливая:

— Вот и от него у меня даже фотографии не осталось. Так внезапно все произошло. Три года прожили вместе. Я уж в судьбу была готова уверовать, — будто человеку за несчастья обязательно должно воздасться. И — считала, воздалось. Наивная! Как-то вечером возвращаюсь с работы, вижу у подъезда газик, а в нем Володька за рулем. Сразу недоброе почуяла. Он тоже меня увидел, выскочил:

— Ольга Михайловна, поторопитесь, вещи уже в машине.

— Какие еще вещи?

Метнулась вверх, в квартиру. Медведик на диване сидит.

Открыла было рот, чтоб закричать: что, мол, за дела за моей спиной. Но по тому, как он поднялся, поняла: нет времени на бабьи истерики.

Протянул мне листок.

— Здесь адрес моего друга. В Киеве все может. Он тебе уже комнату выделил и с работой все организует так, что никто вопросов задавать не станет. Билеты на поезд у Володьки. Он и посадит.

Обхватил меня, приподнял как когда-то — глаза в глаза. И такую я там тоску разглядела, что можно и не спрашивать. Все-таки пролепетала:

— Неужели и до тебя добрались, сволочи?

Медведик насупился:

— Только не вздумай написать. Когда все уладится, сам приеду.

— Так и не приехал! — тоскливо выдохнула тетка. — Я потом рискнула — врачихе своей черкнула. От нее узнала, что арестовали их с Володькой чуть ли не на другой день после моего бегства — за вредительство. Какой-то безумный план не выполнил. А еще через два года звонок в квартиру. Открываю, а там врачихина дочка подросток стоит. Мать от перитонита умерла, так эта стервочка ко мне сиганула. Так и приросла на всю жизнь.

Тетка намекающе ждет. Я уже давно догадался. Но, чтоб доставить ей удовольствие, делаю изумленные глаза:

— Неужто Верочка?!

Тетя Оля, довольная удавшимся розыгрышем, кивает.

— А о Медведике так больше ничего? — со слабой надеждой напоминаю я. — Может, все-таки?..

— Сгинул, — тетка пасмурнела. — Это у птичек-невеличек вроде меня шанец какой-никакой оставался, а как медведю на лагерной баланде выжить? Да с его-то шатунным норовом!

Она угрюмо скрежещет зубками.

— Какое племя под корень вывели, сволочи! Зато теперь сплошное быдло свинячье жирует. Вот они, племяш, зигзаги истории.

С привычной ностальгией оглаживает томик Ленина.

— Всего-то трех-четырёх лет ему не хватило. Совсем в другой стране жили бы!

На этот раз я не спорю. В шестьдесят восьмом сам был в том же уверен.

— А еще я им Мишку Кольцова никогда не прощу! — внезапно выпаливает тетя Оля.

У тетки серьезный счет к советской власти. Нынешних властителей она считает сталинскими последышами, извратившими ленинские идеи, и ведет с ними непримиримую борьбу. На ее счастье, советская власть об этом не догадывается и не мешает ей тихонько стариться в чистенькой комнатенке на Владимирской, под любимыми киевскими каштанчиками.